

Руслан Хестанов

# АРКАНЫ<sup>1</sup> ЛИБЕРАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

## ВВЕДЕНИЕ. МНИМАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ ЛЕВИАФАНА — ГОСУДАРСТВО КАК ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«**Н**е существует Государства, есть только огосударствление (*étatisation*)»<sup>2</sup> — в этой сентенции Жюль Делеза содержится два парадокса одновременно. Первый — на поверхности — в содержании самого суждения, утверждающего одновременное осуществление процесса огосударствления и отсутствие государства как такового. Вторым парадоксом, так сказать, ситуативным или конкретно-историческим, Делез публикует свою книгу о Мишеле Фуко, в которой развивает тезис непрерывности огосударствления<sup>3</sup>, в 1986 году. Но как раз именно в это время синонимом слова «реформа» становится «приватизация», Рональд Рейган уже второй срок подряд является президентом США, впрочем, второй раз в кресле премьера Великобритании мы застаем также Маргарет Тэтчер. Очень странно было говорить о «непрерывности этатизации» как раз тогда, когда неолиберализм начинал набирать силу, когда в западных университетах, и прежде всего на экономических факультетах, профессорские должности и кафедры переходят в руки людей, формулирующих и пропагандирующих доктрины «государственного минимализма», «скромного правительства», плохо переводимого на русский *good governance*. В эти годы в общественное сознание внедрились те концептуальные оппозиции, которые сегодня стали практически неустранимыми из современного дискурса экспертов банальностями: в экономике государству противопоставлялся рынок, в политике как позитивная альтернатива государственной бюрократии рассматривалось «гражданское общество».

Но менялись не только представления и теории. Мужчины и женщины западных стран наблюдали неолиберальную политику в действии. Им казалось, что государство добровольно и стремительно сдает позиции, переда-

1 *arcana* (лат.) — тайна, загадка.

2 См. Делез Жюль. *Фуко*. — М. 1998. — С. 103.

3 В дальнейшем мы будем употреблять термин «этатизация», чтобы избежать тех ассоциаций, с которыми связано словоупотребление «огосударствление» в русском языке.

вая целый ряд полномочий частному бизнесу и растущему «третьему сектору» неправительственных организаций. Непреклонная политическая воля неолиберальной генерации политиков превращала государство из тотального контролера в маленькую контору по предоставлению очень специфических услуг, которые, может быть временно, неспособен был предоставить бизнес.

Трудно представить, чтобы в этой атмосфере радикальной перестройки либеральных демократий кто-то всерьез мог отнестись к рассуждениям маленькой группы французских интеллектуалов о том, что капитуляция Левиафана мнимая, что, напротив, развивается новая, более эффективная и утонченная система контроля как населения, так и хозяйственных рынков. Хотя те же Мишель Фуко и Жиль Делез уже получили широкое мировое признание, их чаще изображали экстравагантными постмодернистами. Признавая их достижения в области философии и эстетики, всерьез воспринимать их воззрения на политику и государство академический истеблишмент отказывался.

Лишь в 2004 году во Франции были опубликованы два курса лекций Мишеля Фуко: *Sécurité, territoire, population* (1979) и *Naissance de la biopolitique* (1978–1979) — ключевые книги для понимания исследований Фуко, посвященных современному государству, либерализму и либеральному правительству. Публикация была встречена довольно прохладно. Дискуссии вокруг них практически только начинают набирать оборот. Относительно незначительная часть двух лекционных циклов была опубликована при жизни Фуко. Но эти статьи и эссе уже в 1990-е годы стали основой для развития целого направления, которое в США развивалось под рубрикой *governmentality studies*, а во Франции — *gouvernementalité*.

Русского эквивалента для обозначения этого нового направления в политической науке до сих пор не существует. На то было как минимум три причины. Во-первых, описываемая Мишелем Фуко политическая реальность в 90-е годы для России была просто марсианской — чужой и неидентифицируемой. Во-вторых, лишь очень немногие из работ Фуко по этой теме были изданы на французском и английском, да и то лишь в начале этого века. В-третьих, что немаловажно, в русском языке довольно трудно передать ту игру слов, которая скрыта в неологизме Фуко *gouvernementalité*, который является синтезом двух существительных *gouvernement* и *mentalité* — «правительство, правление, управление», с одной стороны, и «мышление, менталитет, психология» — с другой. Но главное — не трудности перевода. Этот корпус работ Фуко обсуждается столь редко, что до сих пор не сложилась конвенция употребления термина<sup>4</sup>.

Не вдаваясь в обсуждение тонкостей перевода, *gouvernementalité* можно назвать учением о рациональности правительства и о генезисе и технологиях современного (либерального) государственного правления. Это в каком-то смысле роднит учение Фуко с великой книгой Макиавелли «Госу-

4 Лишь только в одном, пока еще рукописном переводе переводчик Андрей Лазарев обсуждает возможности русского эквивалента *gouvernementalité*.

дарь». Их объединяет не только тема — искусство государственного (у) правления, но и факт, что каждая из них является вехой, отмечающей революционную смену самой исторической парадигмы в техниках и рациональности государственного правления. По крайней мере, у русского переводчика «*Gouvernementalité*» — одной из ключевых лекций курса «*Sécurité, territoire, population*», сознательно или бессознательно сработала именно эта ассоциация. И ее название он перевел как «Искусство государственного управления»<sup>5</sup>.

Впрочем, косвенным образом такой перевод санкционировал сам Фуко. Правда, его конструирование неологизма связано со стремлением подчеркнуть, что речь идет о новых, исторически беспрецедентных — *либеральных* — формах государственного управления и контроля. Современные конвенционально принятые представления о государстве и управлении для Фуко — ограничены и узки. Ведь правительственная деятельность понимается зачастую как прерогатива исключительно исполнительной власти, т. е. даже более узко, чем функции трех ветвей государственной власти. Но даже при анализе механизмов государства как целого в фокусе оказываются лишь приказы, директивы, регламенты, законы, распоряжения, циркуляры — все то, что не выходит за пределы поля официального, формального правления. Таким образом, государство понимается как ансамбль формальных учреждений, их правил и предписанных функций.

В больших государственных формах остается незамеченной не только рациональность, которой руководствуются «слуги народа», но и, так сказать, «второе дно» — сверхинституциональные (сверхюридические, сверхбюрократические и пр.) техники управления и контроля. Чтобы разглядеть эти сверхинституциональные техники, следует выйти за пределы «официальности», легальности, феноменальной непосредственности — по ту сторону *Приказа* и различных форм узаконенного принуждения. Только в таком случае можно будет отследить, каким образом осуществляется контроль государственной власти над такими квазиавтономными сферами, как рынок, гражданское общество, культура, взаимоотношения полов и поколений.

Фуко настаивает, что глобальная, координирующая роль государственного правления сегодня все глубже проникает в такие, казалось бы, сугубо частные сферы интересов, как сексуальные или внутрисемейные отношения. В этом смысле разложение традиционных форм семьи, рост толерантности к многообразию проявлений сексуальной идентичности есть свидетельство не столько ухода государства из этих сфер жизни человека, из «приватизации», сколько учреждения новых шаблонов поведения и форм контроля.

Термину «правление» (*gouvernement*), считал он, нужно оставить тот широкий смысл, который придавался ему в XVI веке. А тогда оно подразумевало не только политические структуры и государственное руководство, но также способ управления поведением индивидуумов или групп. Править в этом смысле означает «определять структуру поля возможных действий

5 См. Мишель Фуко. *Искусство государственного управления* // Интеллектуалы и власть. — Т. 2. — М., 2005. — С. 183–211.

других»<sup>6</sup>, поле действий подвластных субъектов, влиять на поступки, стандартизировать действия и мотивы женщин и мужчин, семей и детей, родов и общин, рынков и производств.

Иначе говоря, правление осуществляется параллельно в двух плоскостях — как на макроуровне, так и на микроуровне. На макроуровне функционируют учреждения трех ветвей государства — структуры глобальной интеграции общества. На микроуровне — те институты и учреждения, которые иногда относят к неправительственным или частным и которые Карл Шмитт метко назвал «косвенными властями» — рынки, муниципальные автономии, цеховые или предпринимательские союзы и корпорации, сельские или церковные общины и организации, но также кодексы неписаного поведения, педагогические системы, правила гендерного поведения.

Именно на микроуровне государственное управление укореняется в социальном мире и оказывает на общество глобальное влияние, а процесс этатизации разворачивается в виде непрерывной интеграции этих автономных структур социального многообразия. Неправильно думать, что государство в современных обществах «производит» это многообразие. Нет, просто сами отношения между ними становятся все более правительственными, т. е. «разработанными, рационализированными и централизованными в форме или под поручительство государственных институтов»<sup>7</sup>.

Правительственная рациональность, как особый стиль мысли, как оригинальный способ расчета и политики, оказывается возможной благодаря появлению Государства как «регулятивной идеи», в терминах которой описывается социальная реальность и жизненный мир. Государство — это не столько «казенная вертикаль», сколько стратегическая модель, с помощью которой осмысляется и понимается социальное целое, уже существующие элементы и институты данной реальности. «Кто такой король? Что такое магистрат? Что есть законная власть? Что такое закон? Что такое территория? Кто такие жители этих территорий? Что такое богатство государства? Что такое богатство суверена? Все эти вещи начинают осмысляться как элементы государства. Государство — не что иное, как способ понимания, анализа и определения природы и отношений этих уже данных элементов. Государство поэтому является схемой постижимости целого ряда устоявшихся институтов, целостного комплекса наличной действительности»<sup>8</sup>.

## 1. ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Большая доля иронии скрыта в одном из требований современного неоллиберализма к правительству — оно должно быть «скромным». Иногда говорят «минимальным». Ирония состоит в том, что требуемая скромность оборачи-

6 Foucault M. *Le sujet et le pouvoir*. Dans «Dits et Écrits». — Vol. 2: 1976–1988. — Gallimard, 1994. В русском переводе: Фуко М. Субъект и власть // *Интеллектуалы и власть*. Т. 3. — С. 181.

7 Фуко М. Субъект и власть // *Интеллектуалы и власть*. — Т. 3. — С. 187.

8 Foucault M. *Security, Territory, Population*. Lectures at the Collège de France 1977–1978. — N. Y.: Palgrave Macmillan, 2007. — P. 376.

важется вовсе не ослаблением социального контроля, а его усилением. Правительство становится минимальным лишь постольку, поскольку меньше диктует, распоряжается и приписывает, т. е. принуждает. Зато в гораздо большей степени ему удастся контролировать поле возможного поведенческого выбора подвластных субъектов.

По большей части переход от «ручного управления» к управлению возможностями совершается благодаря тому, что «правительственный разум» начинает иначе смотреть на объекты своей опеки, по-другому рубрицировать и квалифицировать социальную реальность. Помимо объектов традиционных (регионы, отрасли, образование), выделяются объекты стратегического интереса, назовем их *привилегированными объектами* управления. Практики современных либеральных государств четко обозначают для себя два таких объекта — *гражданское общество* и *рынок*.

Эти две сферы социальной реальности не являются местами, где производится автономия, свобода или независимость от государственной власти. С помощью гражданского общества и рынка лишь определяется водораздел между управляющими и управляемыми. Именно в администрировании ими, в регуляции дистанции с ними формируется либерализм как искусство правления. Однако отличие между этими двумя привилегированными объектами правления — важная, если не основная, часть либерального искусства правления

#### *Предыстория: гражданское общество*

С первыми попытками сформулировать концепт гражданского общества мы сталкиваемся у меркантилистов, которым удалось стать ведущим направлением европейской мысли в течение относительного короткого исторического периода с начала XVII и до конца XVIII века. И что для нас чрезвычайно важно — меркантилизм рассуждал о гражданском обществе в контексте своего основного вопроса: какие условия помогают государству стать мощным и богатым? Какие же условия они выделяли? Во-первых, государство должно обладать большим количеством золота и серебра — сокровищами. Во-вторых, главным источником накопления сокровищ должна быть внешняя торговля. В-третьих, торговый баланс государства должен быть таким, чтобы экспорт преобладал над импортом. В-четвертых, активная внешняя торговая экспансия должна поддерживаться армией и дипломатией. Но какая роль отводится в этой меркантилистской стратагеме гражданскому обществу? Государство, чтобы обеспечивать себя рабочей и военной силой, должно быть густонаселенным. При этом население должно быть организовано как «содружество людей», как «общественное благосостояние», как *commonwealth*, т. е. как гражданское общество.

Отметим, что меркантилисты довольно равнодушно относились к проблеме разных форм государственного правления. Впрочем, такое равнодушие характерно вообще для всех тех, кто рассуждал внутри нового мышления *raison d'Etat* (*государственного интереса*): «речь идет не столько о выборе между

различными типами политического устройства, сколько об их сочетании ради одной жизненно важной цели — государства»<sup>9</sup>. Итак, меркантилистам было все равно — демократия, аристократия или монархия будет направлять работающее, производящее население к созданию богатства государства. Их исходной точкой рассуждений было государство фактически существующее. Именно на его основе они предложили разработанную и расписанную правительственную программу конструирования искомой государственной мощи. Меркантилисты, пожалуй, впервые попытались предложить некоторую рационально и прагматически разработанную (а не метафизически или теологически обоснованную) практику правительства. В их программе содержался утопический элемент, поскольку все их рассуждения опирались на новую воображаемую реальность, которая именовалась *raison d'Etat* (*государственный интерес*). С помощью этой регулятивной идеи они пытались «рационализировать» правительственную практику, располагая ее между государством как данностью и государством, которое должно быть сконструировано и построено<sup>10</sup>.

Меркантилизм не нужно понимать как узкую теорию торговли и коммерции. Да, он делал акцент на коммерческой циркуляции и накоплении сокровищ. Но для самих меркантилистов такая правительственная практика была явно недостаточной, чтобы обеспечить государственную мощь. Организовать нужным образом внешнюю торговлю можно было только при условии совершенно определенной внутренней организации страны и населения. Вполне в духе своего времени функции организации населения в гражданское общество меркантилисты препоручали аппарату полиции.

Зачем нужна полиция? Чтобы поддерживать порядок в обществе, в природе которого заложен потенциальный социальный конфликт. Иначе говоря, полиция нужна, чтобы поддерживать режим сословного неравенства внутри гражданского общества. У Томаса Мана мы находим рассуждения о пользе бедности среди трудящихся слоев: «бедность и нужда делают людей благоразумными и трудолюбивыми». Средства существования трудящихся должны быть минимизированы — массы не следует баловать предметами роскоши, поскольку они могут быть товарами внешней торговли, т. е. увеличивать баланс в пользу экспорта и способствовать накоплению сокровищ. В то же время «пышность зданий, нарядов и прочего у благородных, дворянства и других состоятельных людей не могут разорить королевства; и если они будут создаваться искусным и дорогостоящим трудом из наших материалов и нашими собственными людьми, то бедные будут поддерживаться кошельками богатых, что станет лучшим распределением общего благосостояния»<sup>11</sup>.

9 Фуко М. *Omnes st singulatim: к критике политического разума // Интеллектуалы и власть.* — Т. 2. — С. 308.

10 См. Foucault M. *Naissance de la biopolitique.* — Gallimard / Seuil, 2004. — P. 5.

11 Цит. по: Milgate Murray, Stimson Shannon C. *After Adam Smith: a century of transformation in politics and political economy.* — Princeton University Press, 2009. — P. 37.

Таким образом, разумный режим неравенства должен преобладать над эгоистическими наклонностями отдельных людей — в особенности бедных трудящихся слоев. Отсюда мотив необходимости авторитарной власти и полицейского государства — один из самых распространенных в эту эпоху. Меркантилисты были заодно с великими современниками вроде Томаса Гоббса и считали, что власть политической «головой» должна быть прикреплена к иррациональному «телу» человеческой массы, чтобы образовать единое управляемое и неразрывное гражданское общество. Переход от ненадежного гражданского и государственного состояния к состоянию надежному можно осуществить, развивая аппарат полиции. Именно так реконструирует ход мысли Гоббса Карл Шмитт<sup>12</sup>. Именно с помощью авторитарного государства и такого инструмента, как полиция, меркантилисты предполагали формировать и затем контролировать гражданское общество.

Новое искусство правления — *государственный интерес*, или *raison d'Etat*, составляет конкретный правительственный комплекс, который можно выразить формулой: меркантилизм + полиция + военно-дипломатический аппарат. Если прежде средствами укрепления королевской власти по отношению к интересам разных феодальных фракций были развитие армии, судебной и налоговых систем, то теперь меркантилисты во внутренней политике делают акцент на том, что правительство должно быть полицейским. И именно в связи с появлением полиции правительственной практике открывается новое поле вмешательства централизованной администрации — гражданское общество.

Чем должна была заниматься полиция? Объект полиции, рассказывает Фуко, бесконечен. Полиция, например, по Ду Ламару, имеет 11 объектов: религия, нравственность, здравоохранение, снабжение, строительные сооружения (мосты и дороги, например), общественный порядок, науки и искусства, торговля, фабрики, прислуга и заключенные, бедные<sup>13</sup>. Когда речь идет о независимой власти перед лицом других властей, полицейское правительство имеет ограниченные задачи. Но нет предела для задач правительства, когда речь идет об управлении публичной властью, которая должна регулировать поведение подвластных.

Нам не следует забывать, что в пределах именно такой предельно суверенистской модели полицейского (или авторитарного) государства появляются первые подходы и определения гражданского общества. Нам также важно разглядеть, когда и почему появляются первые трещины в этой модели, когда и на каких основаниях гражданское общество начинает обретать черты автономной и квазинезависимой от государства реальности.

12 См. Шмитт К. *Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса*. — М., 2006. — С. 144–145.

13 В своем «Наказе» Екатерина Великая дала полиции очень общее определение, указывающее на бесконечность полицейских задач — «благочиние». О функциях полиции см: Foucault M. *Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France. 1977–1978*. — Gallimard/Seuil, 2004. — P. 31–57, 319–370. Фуко М. *Omnes et singulatim: к критике политического разума*. — С. 308–315.

В XVIII веке в эволюции понятия гражданского общества происходит ключевое для современности событие. Модель тотальной организации гражданского общества внутри и посредством государства подвергается жесткой критике с двух сторон. Критику первого типа можно обозначить как *правовую*, или суверенистскую. Ее образец мы находим у Томаса Пэйна. Критику второго типа можно обозначить как *рыночную*, или (политико-) экономическую. Ее первый образец мы находим у сэра Джеймса Стюарта.

Подозрительность Томаса Пэйна к полицейской гармонии между государством и гражданским обществом имела политические основания, так как была продиктована страхом государственного деспотизма и надеждой избежать беспорядков, которые последовали после поражения Британии в американских колониях, а также событиями едва начавшейся Французской революции. Свой главный аргумент Пэйн формулирует в книге *Common Sense*: «Некоторые авторы настолько смешали общество с правительством, что вовсе не оставили или оставили совсем небольшое отличие между ними; тем временем они не только отличны, но имеют разное происхождение. Общество производится нашими потребностями, а правительство — нашей слабостью; первое наделяет позитивно нас счастьем, объединяя наши влечения, последнее — негативно, ограничивая наши пороки. Одно поддерживает общение, другое создает отличия. Первое — покровитель, второе — каратель»<sup>14</sup>.

Аргументация Пэйна была подхвачена, но далеко не всеми. Ее с восторгом приняла оппозиция, поскольку аргументы Пэйна разворачиваются внутри разработанной политической оппозицией форме критики — правовой. Дескать, у общества, с одной стороны, и правительства — с другой, существуют отличные области суверенитета, а потому их гармоничное сосуществование зависит от их взаимной способности договориться, а именно от компромиссного разграничения прав и свобод. Этот правовой подход оказывает влияние на дебаты о гражданском обществе вплоть до наших дней. В нем всегда нуждались те, кто хотел четко определить границу между своей автономией и суверенитетом правительства — знать, торговые и городские сословия. В наши дни полезность правового подхода оценили также те, кто *реалистично* относится к сословным, классовым, этническим, гендерным и прочим различиям и стремится придать им юридическое выражение.

Критические размышления шотландского экономиста сэра Джеймса Стюарта имели рыночные и экономические основания. Они были более изощренными и оказались востребованными со стороны адептов *государственного интереса*. Стюарт обратил внимание на то, что коммерциализация произвела в обществе настоящую социальную революцию. Благодаря коммерциализации у людей появились вполне прогнозируемые ожидания. Поэтому возникла возможность управлять населением более рациональ-

14 Paine T. *Common Sense // The Debate on the American Revolution, 1761–1783* / Ed. Max Beloff. Repr., Dobbs Ferry. — N. Y.: Sheridan House, 1989. — P. 231.



но — нужно только поменять принуждение на побуждение. Его аргумент был прост. Развитый вкус к роскоши побуждает трудящиеся сословия производить излишки, которыми можно торговать, чтобы приобрести вожделенные блага, не нужные для поддержания существования. Стимул к работе увеличивается, следовательно, ограничения физической необходимости постепенно уменьшаются. Не выходя за пределы парадигмы меркантилистов, Стюарт нашел новую точку опоры для правительственной рациональности — побуждение — и открыл пространство для большей свободы и независимости сословий, составляющих трудовую часть гражданского общества. Стюарт формулировал это так: «Я вывожу современную свободу из... внедрения промышленности и обращения адекватного эквивалента за любую услугу»<sup>15</sup>. Обосновывая появление свободы из коммерческих отношений, т. е. из отношений рыночных, Стюарт фактически доказывал, что для правительства рационально допустить автономию гражданского общества. Открытая Стюартом перспектива новой рациональности правительств была дешевой, поскольку опиралась на естественные мотивы и побуждения, а не на бдительность дорогостоящих аппаратов полицейского надзора. Она также была безопасна, поскольку сильно ограничивала область прямого государственного насилия.

#### *Гражданское общество между правом и рынком*

Оба подхода — *правовой* Пэйна и *рыночный* Стюарта — как два конкурирующих лейтмотива до сегодняшнего дня оказывают влияние на дискуссии вокруг *societas civilis*. Эти дискуссии никак не обретут свой фокус именно в силу нарочитой двойственности двух несовместимых подходов. С одной стороны, государственный интерес определяется внешне — со стороны неустрашимого сопротивления подвластных, составляющих гражданское общество, сопротивления, которое обозначает ту границу, которую суверену пересекать было бы опасно. Это *негативное* определение границы обычно находит выражение в праве. В правовом измерении правительству противостоит гражданин как субъект права, так или иначе ограниченный рамками контракта с сувереном. Здесь правительство оценивается по такому критерию, как легитимность или нелегитимность. С другой стороны, действие правительства опирается на внутреннее ограничение — на рациональность, т. е. внутреннюю регуляцию как принцип самокритики самого правительства. Эта правительственная рациональность вырабатывается экономической наукой, которая определяет для правительства правила того, что делать можно и чего нельзя. В этом рыночном измерении правительство имеет дело с человеком как субъектом экономического интереса, субъектом, которого ограничивать было бы просто небезопасно, поскольку любой диктат правителя автоматически лишал его такого мощного орудия воздействия,

15 Stuart J. *An Inquiry into the Principles of Political Economy* / Ed. Andrew S. Skinner. Repr. — Edinburgh: Oliver and Boyd, 1966 [1767]. — Vol. 1. — P. 209.

как побуждение или мотивация. В подобном рыночном измерении критерием оценки правительства является уже не легитимность, а успех или неудача.

В лекции от 28 марта 1979 года Фуко рассказывает о несовместимости юридического субъекта, порожденного правовыми теориями договора, и экономического субъекта, субъекта интересов, о котором толковала политическая экономия. От первого, *homo legalis*, говорит Фуко, требуется, чтобы он отказался от части своих прав ради безопасности целого, т. е. общества. Что касается второго, *homo oeconomicus*, то от него никогда не требуют идти против своих собственных интересов. Напротив, и здесь Фуко вспоминает янсениста Пьера Николя и «Басню о пчелах» Мандевиля, чтобы экономика приносила благо, чрезвычайно важно, чтобы каждый преследовал свой эгоистический интерес. Разница в понимании подвластных субъектов правом и экономикой объясняет, почему «рынок и договор функционируют в точности наперекор друг другу»<sup>16</sup> — заключает Фуко.

Правовой и экономический подходы не только к гражданскому обществу, но и к миру оказываются, таким образом, несовместимыми. Невозможна также единая теории или наука. Не случайно экономика-правовая дисциплина так никогда и не возникла. Но важно другое: роковая несовместимость не мешает либеральному правительству всегда ею пользоваться, чтобы усиливать стратегические позиции политической экономии как рационального дискурса, которым руководствуется правительство.

Собственно появление самоограничения либерального управления Фуко связывает с принципом «экономического правительства», который был сформулирован в конце XVIII века в теориях физиократов — критиков и прямых наследников меркантилистов. Их радикальный рационализм нашел свое выражение в требовании: «добросовестное правительство» должно править согласно Истине. Но где искать эту истину? Уж конечно, не в традиции, не в праве и справедливости, которые искажены архаикой обычая, сословными предрассудками и превратностями политической борьбы. И тем более не в исчислении общей воли путем голосования. Истину, говорили физиократы, можно найти только на рынке. С тех пор именно политическая экономия диктует правительству, что такое хорошее поведение. Рынок должен диктовать, командовать и «говорить истину» правительству. Из него же должен дедуцироваться и правовой механизм. В строгом смысле слова «правительство» становится, считает Фуко, самим «искусством осуществления власти в экономической форме»<sup>17</sup>.

Одновременно и параллельно с рыночной перспективой физиократов английские либералы развивают теорию полезности утилитаризма. Ограничивать правительство, говорили они, должны сами факты. А фактами могли быть и демография, и традиции, и нравы, и исторические прецеденты, и цели самого государства, и экономика. Но среди множества фактов надо было выделить те классы фактов, которые бесполезно и абсурдно регу-

16 Foucault M. *Naissance de la biopolitique*. — P. 279.

17 Фуко М. *Искусство государственного управления*. — P. 193–194.

лизовать правительству. Принципом отделения фактов, на которые можно воздействовать и на которые воздействовать нельзя, стало представление о полезности. Именно польза, утверждали утилитаристы, стала критерием, определяющим компетенции и границы государственного вмешательства. С тех пор как английские радикалы поставили вопрос о пользе, утилитаризм перестал быть философией и идеологией. Он превратился в технологию правительства.

Правительства абсолютистских монархий, а затем и национальных государств научились использовать механизмы правового контроля, которые точно описывали границы и фиксировали позицию каждого элемента в открытом пространстве. Отдельно взятый предмет опеки (школа, завод, больница или армия) был подчинен отдельному бюрократическому надзорному органу, особому регламенту, устанавливающему режим его функционирования. Общим для всех них был принцип иерархии и дисциплинарный шаблон, который создавал практически универсальный стандарт совместимости для организации учреждений, имеющих разнородные задачи вроде образования, армии, производства или здоровья. Это позволяло легко «конвертировать», например, школьников в рабочих, а рабочих — в солдат. Проводились жесткие разграничения, режимы изоляции и организованного обмена между разными социальными мирами — например, между городом и деревней, этническими сообществами. Дисциплинарные шаблоны и регламенты регулировали жизненные миры сословий и этнорелигиозных общин. Часто такая регуляция закреплялась в особых юрисдикциях: сословные суды в дореволюционной России и разделение органов уголовного суда в СССР для горожан и жителей села, в современной России помимо гражданской существует военная прокуратура. Совершенство государственного правления определялось успехом в организации пространств изоляции и оседлости — «прогресс отождествлялся с отказом от кочевого образа жизни в пользу оседлого»<sup>18</sup>. Врагом государства был либо «бродяга», не признающий установленных границ, либо «эксцентрик», игнорирующий учрежденный в данном пространстве дисциплинарный порядок. Эти техники суверенного контроля, видоизменяясь, продолжают действовать и сегодня.

Однако с возникновением политической экономии у правительства появились возможности для технологического новаторства, которым в полной мере воспользовались либеральные правительства, в особенности во второй половине XX века. Рыночные методы правительства, опирающиеся на побуждения и мотивацию, позволяли контролировать уже не только пространства оседлого («крепостного») населения, но и социальные потоки — население циркулирующее и подвижное. Либеральное государство получило возможность действовать в двух измерениях одновременно — правовом и экономическом. У него появился новый план, который не является ни особым субъектом права, ни ансамблем экономических отношений, но того и другого одновременно. Этот план нашел выражение в концепте

<sup>18</sup> Бауман Зигмунт. Текущая современность. — СПб., 2008. — С. 201.

гражданского общества. Он-то и стал привилегированным объектом правления, аморфным единством населения, объединяющим предпринимателей и наемных работников, сообщества веры и идентичностей, населения в разных его ипостасях—гражданской, потребительской и налогооблагаемой.

Скажем, Карл Маркс смотрел на общество как теоретик, когда писал о непреодолимом различии между Буржуа (экономическим субъектом) и Гражданином (субъектом права). Для него антагонизм между этими двумя историческими персонажами был проявлением «объективного противоречия», которое могло устранить или снять только революция. Либерализм уклоняется от такой доктринальной классики, отказываясь как от теории, так и от революционной практики. Ему интереснее искусство, а именно пластичность правительственных практик, стремление совместить то, что не может совместить непротиворечивая теория—разные техники, стандарты и нормы. Рациональность либерального правительства—это не социология или общая теория общества, а конфликтология. Цель—не решение конфликта, а управление им. Внутри этой новой рациональности нет выбора, например, между этничностью, патриотизмом, национализмом или космополитизмом. Их сочетание—вопрос практических конвенций, постоянной смены регистров и акцентов. Достаточным условием рациональности является прагматично понятая мера.

В этой эклектичной комбинаторике есть что-то от настоящего чуда. Несмотря на одновременность действия в разных направлениях, либеральное правительство выстраивает общую стратегию и редко теряет последовательность и консистенцию.

Деятельность правительства не подчинена логике, которая разрешает дилемму в принципе: должно ли государство вмешиваться в сферу гражданского общества, нужна ли регуляция рынка или же ему надо предоставить свободу. Тогда как теоретики склонны к четко определенным формулировкам, реальное действующее либеральное правительство предпочтет уклониться от однозначных ответов и руководствоваться вовсе не общими принципами—его выбор чаще определяется прагматичной интерпретацией ситуации, общими условиями поля. Правительство вмешивается, когда правовые, экономические, культурные или социальные нормы производят трения, противоречия, напряженность. Поскольку правительственный разум может утверждаться только в пространстве политического и экономического соревнования, его вмешательство не предполагает окончательного вердикта. Ведь в противном случае оно упускает важный тактический шанс разыграть одно противоречие против другого и занять привилегированную позицию. Рациональней смещать акценты и достигать динамического равновесия между разными представлениями о законе, свободах, правах. Пресловутая «скромность» либерального правительства проявляется в том, что оно не претендует на твердое суждение, а устанавливает связь между разнородными терминами. Отсюда странность либеральной политики—окончательное разрешение конфликта или политического вопроса непрерывно отодвигается, откладывается навсегда.

Принципиально важно, что гражданское общество — рубрика, обозначающая довольно туманную, крайне пеструю и неоднородную реальность<sup>19</sup>, которая расположена по ту сторону относительно четко обозначенных государственных учреждений и институтов. К ней можно отнести политические партии, корпоративные структуры бизнеса, профсоюзы, НПО, религиозные конфессии и самого разного рода общественные организации. Почему это важно?

В лекции Фуко от 4 апреля 1979 года мы находим одну небольшую странность. На поставленный им самим вопрос: так что же такое гражданское общество? — он предлагает такое определение: «Гражданское общество — это попытка ответить на вопрос, который я сейчас же и сформулирую: как править согласно правовым нормам пространством суверенитета, населенного экономическими субъектами?»<sup>20</sup> Как кажется на первый взгляд, вместо того чтобы дать определение гражданского общества, Фуко говорит совсем не по сути: он определяет гражданское общество как *попытку* ответить на другой странный вопрос. Может, это ошибка или оговорка?.. Нет, эта умышленно допущенная лектором странность — риторическое подчеркивание того факта, что гражданское общество является рациональным конструктом (или категорией), который позволяет концентрировать, систематизировать и ограничивать правительственную практику. Гражданское общество — это по большому счету проблематизация правительственного воздействия на социальный мир. Фуко называет его также «концептом», «полем референции», «частью правительственной технологии», или «скорее, коррелятом технологии правительства, рациональная мера которого должна юридически регулироваться (*s'indexer*) экономикой, понимаемой как процесс производства и обмена»<sup>21</sup>. Однако этот постоянно конструируемый объект воспринимается правительством не как условность, а вполне реалистически, т. е. как существующее «нечто» — только тогда правительство обретает способность стратегически действовать. Поэтому гражданское общество — это не иллюзия, не ошибка, не идеология.

19 Яркий пример суверенистского подхода мы находим в современных политических высказываниях. Обратите внимание, например, как обозначает границу между государством и гражданским обществом РФ Дмитрий Медведев в интервью «Новой газете» от 15 апреля 2009 г.: «Гражданское общество во всем мире является оборотной стороной государства. Государство — не только политическая машина, это такая форма организации жизни, которая основана на государственной власти и опирается на закон. А гражданское общество — это человеческое измерение любого государства. Оно хотя и действует внутри законодательного поля, но по собственным, людским законам, которые не всегда, кстати, носят юридическую форму<...> гражданское общество — это неотъемлемый общественный институт любого государства. Институт обратной связи. Организации людей, находящихся вне постов, но активно участвующих в жизни страны».

20 Foucault M. *Naissance de la biopolitique*. — P. 299.

21 Ibid. — P. 300.

## 2. НЕОЛИБЕРАЛЬНАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ

«Добросовестное правительство»

Рынок, как концепт политической экономии, помогал провести воображаемую границу между правительством и подвластными структурами. Усилиями меркантилистов и физиократов он постепенно становится главным принципом самоограничения правительственного разума, новым привилегированным объектом правительственного интереса. Фуко не раз подчеркивает тот факт, что гарантом от произвола либерального правительства были не ограничения в виде парламентских институтов и права, а появление механизма самоограничения, который был встроен внутрь правительственной рациональности в виде жесткой ориентации на рынок.

Однако в этой сугубо мирской рациональности, ориентированной на рынок, непременно присутствует утопический элемент, определяющий характерную двойственность правительственной практики. Рынок мыслится как предельный идеальный план или матрица социального мира. На его основе политическая экономия формулирует правила поведения правительства. Однако в своей конкретной практике правительство действует в среде, в которой кроме рынка существует всегда некий «осадок» социального мира, иногда очень далекого от рыночных принципов организации. Стремление экономической науки абстрагироваться от этого «осадка» социального, само допущение, что это возможно, образует ее утопический элемент. Однако он преодолевается с помощью принципа *полезности*, разработанного утилитаризмом. Правительство получило возможность расширить зону своей опеки и включить в нее не только «чистую» экономику, но и такие «естественные» факторы, как классы и сословия, здоровье и образование, демографические процессы — «возможности поведения» населения в целом. У власти, таким образом, появилось два критерия для производства «объективного» представления о собственном интересе — польза и меновая стоимость. Государственный интерес выводится из сложной игры коллективных интересов, из арбитража между экономическими прибылями и социальными соображениями. Пытаясь нащупать равновесие между рынком и неустранимым «осадком» социального, либеральное правительство фактически занимается манипуляцией интересами. Правительство, как говорит Фуко, уже «не интересуется интересами», а занимается политикой, т. е. управляет феноменальной данностью интересов.

Вплоть до середины прошлого века политико-экономическая мысль смотрела на рынок как на область человеческой природы, как на естественное образование. Так считали и классические либералы, и марксисты. Это мнение было радикально пересмотрено после Второй мировой войны немецкими ордолибералами, к которым Мишель Фуко возводит появление неолиберализма. Ордолибералы были экономистами-практиками, работавшими еще во времена Веймарской республики. Именно им принадлежит изоб-

речение самого термина «неолиберализм»<sup>22</sup>. После 1945 года ордолибералы составили ядро экономических советников Людвиг Эрхарда. Эта группа экономистов, которым пришлось практически с нуля начинать создание рыночных механизмов в послевоенной Германии, полагала, что появление нацистского режима было не следствием экономического кризиса, но итогом правительственных (кейнсианских) интервенций в экономику.

Ордолибералы совершили настоящую революцию в правительственных практиках либерализма. Прежде либерализм исходил из доктрины *laissez-faire*, т. е. предписывал государству невмешательство в естественный рыночный процесс. Вмешательство государства допускалось только в роли регулятора или надзорной инстанции. Но надо пойти еще дальше, говорили немецкие ордолибералы, правительство должно обобщить логику работы рынка таким образом, чтобы эта логика стала главным основанием, шаблоном и мотивом всякого управления. Иными словами, рынок должен стать фактическим регулятором поведения правительства. Логика конкуренции и рынка должна распространиться на государство и само правительство.

Казалось бы, такая революционность ордолибералов должна была выразиться в ослаблении государственного вмешательства, в открытии шлюзов свободному рынку и конкуренции. Тем не менее такой подход они считали крайне наивным и даже романтическим. Рыночные механизмы не могли стать центральными для общества без креативной и активной роли государства. Государство должно быть интервенционистским. Конкуренция, рынок, труд — не природные данности. Правительство должно создавать саму их возможность, а затем охранять их. Ему не нужно решать проблемы полной занятости, покупательной способности, производительности труда, думать о промышленных инновациях или платежном балансе — все это вторично. Правительство не должно корректировать разрушительное воздействие рынка. Нет, оно должно быть занято лишь созданием и наладкой хрупких рыночных механизмов во всех сферах общества.

По сути, ордолибералы представили программу радикального социального преобразования. Позже она была подхвачена американским неолиберализмом. Их «добросовестное правительство» просто не могло позволить себе быть «скромным», оно должно было подчинить все социальные отношения исключительно рыночной логике, глобальному рыночному контролю: «Свобода рынка требует активной и чрезвычайно бдительной политики»<sup>23</sup>. Регуляция рынка, таким образом, как считал, например, Карл Полаanyi, уже

22 В лекции от 14 февраля 1979 г. Фуко подробно рассказывает о «коллоквиуме Липпмана», состоявшемся в Германии, на котором обсуждался вопрос о том, как назвать новую доктрину либерального правительства, которую пытались сформулировать ордолибералы. Среди прочих предложений обсуждались такие варианты, как «позитивный либерализм», социальный либерализм», но в конечном итоге участники коллоквиума посчитали термин «неолиберализм», предложенный французским эпистемологом Луи Ружье, наиболее подходящим. Подробнее см.: Foucault M. *Naissance de la biopolitique*. — P. 135–164.

23 Foucault M. *Naissance de la biopolitique*. — P. 139.

не является коррекцией социальных деформаций, которые он провоцирует. Регуляция и интервенция правительства — обязательные условия.

Таким образом, экономка — это уже не только эталон для политики или права, но суть и форма самой социальной политики, *Gesellschaftspolitik*, которая встраивает общество в существующий рыночный механизм. Иными словами, сильная интервенционистская политика правительства направлена не на сферу экономики как таковой, а на условия, которые создают и влияют на рынок, т. е. на сферу социального. Государство вмешивается в само общество, проникает в его кровь и плоть. Чтобы создать условия для рынка, надо воздействовать на него в стратегическом плане: через демографию, технологии, права собственности, социальные и культурные условия, образование и правовое регулирование.

Либеральное правительство, таким образом, не может позволить себе быть скромным. Оно имеет исторически беспрецедентные амбиции: да, оно отказалось от прямых дисциплинарных запретов и форм социального принуждения, но поставило перед собой задачу производства самой жизни. Поэтому Мишель Фуко окрестил политику современного либерального правительства *биополитикой* — это «политика жизни, которая ориентируется в основном... не на рост зарплат и сокращение рабочего времени, как традиционная социальная политика, но принимает во внимание жизненную ситуацию работника в целом, его реальную, конкретную ситуацию, с утра до вечера»<sup>24</sup>.

Неолиберализм поставил цель окончательно избавиться от «осадка» социального. То, что было для традиционного либерализма идеальным и утопическим планом, перешло в набор конкретных правительственных мероприятий.

#### *Социальность, преобразенная рынком*

Итак, стратегическая задача неолиберальной правительственной практики на макроуровне определяется необходимостью встраивания социального мира в рынок. Такая стратегия должна была найти себе поддержку на микроуровне — реорганизация социального должна была происходить на уровне его ткани. То есть нетрадиционные социальные ячейки и индивидуумы должны были стать основой новой текстуры. Идеальным индивидуальным агентом этой новой исторической формации является предприниматель, а основным коллективным агентом — предприятие. Первый — это атом новой исторической формации, второе — социальная ячейка, в которую он встроен.

Главным посредником правительственного управления и контроля, новые формы которого обретают вполне отчетливые очертания после событий 1968 года, становится «молекулярная» структура предприятия. Фуко предостерегает от поспешных оценок новой программы: «Это не про-

<sup>24</sup> Ibid. — P. 164.



екция идеологии, или экономической теории, или политического выбора в условиях современного кризиса капитализма, а что-то вроде нового искусства правления»<sup>25</sup>.

Во Франции подлинный расцвет предпринимательского капитализма приходится на 1980-е годы и совпадает с периодом правления в стране социалистического правительства Франсуа Миттерана. Именно социалисты делают предприятие стержнем своей социальной и экономической политики — предприятие должно стать решением проблем кризиса, безработицы, но также средством преодоления застоя и восстановления значимости и влияния страны на мировой арене. Не нужно забывать, говорит Франсуа Миттеран, что «вовсе не правительство производит, не оно торгует, не оно дает гарантию товарам после продажи». Все это делает не правительство, а вполне конкретные предприятия<sup>26</sup>. А потому политическая власть должна учредить (декретировать) центральную роль предприятия в обществе.

Смысл происходящего переворота в правительственных практиках в 1990 году растолковал президент CNPF (*Национального совета французских предпринимателей*) Франсуа Перигот: теперь «предприятие унаследует проблемы, которые не могут разрешить государство и политики»<sup>27</sup>. Горизонтом надежды, сердцем социального пространства будет теперь для граждан не национальное государство, но предприятие.

Специфику неолиберальной революции обычно связывают с наступлением частной сферы на государственную, а именно с приватизацией, которая затронула традиционные для государственной опеки сферы — от медицинского и социального страхования до образования, от структур безопасности до науки. Такой подход оставляет в стороне другой важный процесс. Неолиберальное правительство превратило предприятие из юридического лица, из места производства в универсальную форму организации, которая выходит за пределы производства и обмена и становится образцом управления и организации внутренней жизни для образовательных учреждений, армии и специальных служб, церкви, НПО, а также самих государственных учреждений и агентств. Что подразумевает такая программа экономической рационализации? Если присмотреться, в ней можно увидеть руссоистский возврат к природе, к тому, что Фуко называет «политикой жизни». Вопрос не в конструировании социальной ткани, в которой индивидуум будет находиться в прямом контакте с природой, но конструировании такой социальной ткани, в которой все основные единицы примут форму предприятия. Ибо что такое частная собственность, как не предприятие? Что такое дом, если не предприятие? Что такое управление малых соседских общин, если не форма предприятия? Иными словами, подразумевалась генерали-

<sup>25</sup> Ibid. — P. 184.

<sup>26</sup> Цит. по: Attali Jacques. *C'était François Mitterrand*. Fayard. — Paris, 2005. — P. 119.

<sup>27</sup> Perigot F. *Une nouvelle stratégie pour les années quatre-vingt-dix // La Revue des entreprises'CNPF*. — Janvier 1990.

зация форм «предприятия» посредством распространения и размножения их настолько, насколько возможно: «Я думаю, что именно размножение формы „предприятия“ внутри социального тела стоит в центре неолиберальной политики. Для этого создается рынок, конкуренция. А предприятие — это формативная сила общества»<sup>28</sup>. Максима неолибералов — «государственные структуры должны быть организованы по образцу рыночных структур» — находит свое воплощение в том, что предприятие становится организационной матрицей не только для бизнеса, но и для всего социального мира и государства.

Организованная на новых началах среда естественным образом меняет индивидуума. В старой политической экономии *homo oeconomicus*, как вектор свободы, желаний и эгоистического интереса, представлял собой довольно абстрактную фигуру. Его нехитрая, лишенная какого бы то ни было социального характера и определенности природа вполне вписывалась как в полицейскую организацию национального государства, так и в дисциплинарную координацию тел старого промышленного тейлоризма. В принципе *homo oeconomicus* мог быть вписан в любой социальный контекст. Но такой одномерный человек совсем не подходил для предприятия. Требовался индивидуум особых качеств, поскольку предприятие нуждается не только в мобилизации физических, но и всех душевных способностей индивидуума, в том числе энергий интеллектуальных.

Работу над образом нового человека осуществляют разнообразные внешние консультанты или подразделения, управляющие на предприятии человеческими ресурсами. Они определяют, каким стандартам «модели сотрудника» предприятия должна соответствовать человеческая душа. Именно в 1980-е годы разрабатываются столь популярные среди нынешних специалистов по управлению кадрами требования, предъявляемые к сотруднику: «человек диалога», «толерантная личность», «общительность и способность работать в команде», «готовность взять на себя ответственность и инициативу» и пр. Этот набор качеств индивидуума должен был подтвердить мобилизационную способность индивидуума и специфический тип жертвенности — «обязательную готовность инвестировать себя в предприятие». Этот комплекс неперемennых качеств сотрудника социолог Жак Ле Гофф назвал *savoir-être*, что довольно трудно перевести буквально, но приблизительно смысл передается выражением «умение (или искусство) быть»<sup>29</sup>.

В 1970–1980-е годы появляется новая модель досуга. Идеальный отпуск больше не связан с моделью праздности и пассивности, унаследованной от рантье XIX века. Отпуск должен был стать познавательным, продуктивным, «значимым», т. е. эффективным. Появляются летние стажировки по информатике или укрепляющие двухнедельные спортивные курсы, культурный отдых и зеленый туризм. Новый корпоративный дух поощряет кол-

28 Foucault M. *Naissance de la biopolitique*. — P. 148.

29 Le Goff Jean-Pierre. *La Barbarie douce. La modernisation aveugle des entreprises et de l'école*. — Paris: La Découverte, 1999. — P. 14–15.

лективные формы досуга и отпусков. Личные инвестиции в предприятие имеют скорее социальный, чем финансовый, характер. Этическая мотивация, согласно новому канону, должна преобладать над экономической.

Само общество понимается как коллективная инициатива. Конкуренция реорганизует весь воображаемый пейзаж. Нужно непрерывно самоуправляться и изобретать самого себя, уметь стать предпринимателем своей собственной жизни. Психологический и этический образец сотрудника предприятия воплотился в фигуре предпринимателя. Предпринимательских навыков и реакций от сотрудника требует не только предприятие, но и социальная среда в целом: индивидуум вынужден действовать как предприниматель, принимая решения об образовании, пенсионном обеспечении, ипотеке, страховании и даже о заключении брака. «Выигрывать, жить — значит крутиться», — выразил новое кредо нового человека культовый французский предприниматель Бернар Тапи. Постоянное движение, «бужизм» — признак успеха, а «проигрывать в нашем обществе — значит иметь предписанное местожитительство: метро, работа и баюшки-баю».

Пафосные образцы новой человеческой особи неолиберализма мы находим также в высоких жанрах. *Либеральный ироник* — философский персонаж, которого изобрел американский неопрагматик Ричард Рорти, — это романтический герой современности, с чрезвычайно гибкой душевной конституцией, иронично относящийся к любой традиции и социальной укорененности. Жизненный энтузиазм либеральный ироник черпает из случайности и приключения, которыми наполнен социальный мир, организованный на началах конкуренции. Теоретик литературы Элен Верн возводит героя неолиберального мифа к характерам венецианских торговцев, доблестью которых была авантюра, и к рыцарству, на языке которого «предприятие» означало «рискованное действие», «цель в себе, доказательство и свидетельство рыцарского превосходства»<sup>30</sup>.

Дух предприятия начинается с культа производительности, спортивной или экзистенциальной, но всегда менеджерской. И этот культ реально становится универсальной необходимостью. Так же, впрочем, как и рыночный капитализм, который обрел статус их рамки и больше не оспаривается и не является полюсом общественных дискуссий. Отныне каждый индивидуум должен был превзойти себя и найти себе место на рынке. Так что предприятие, которое исторически было «инструментом господства над популярными классами, становится моделью поведения для всех индивидуумов»<sup>31</sup>.

К битве за предприятие, за новый образ жизни и нового человека призывают ультралиберальные правительства Рейгана и Тэтчер, в нее втягиваются Франция Миттерана и Испания Фелипе Гонсалеса. Неолиберальные правительственные практики становятся интернациональными.

30 Цит. по: Cusset François. *La décennie. Le cauchemar des années 1980*. — Paris: La découverte, 2008. — P. 291.

31 См. Ehrenberg Alain. *La Culte de la performance*. — Paris: Calmann-Lévy, 1997. — P. 14.

*Реорганизация политического поля*

Встраивание социальности в рыночную структуру, изменение самого социального пейзажа во второй половине XX века находят свое отражение в новой организации политического поля. Правительственный контроль над политическим полем достигается с помощью установления и организации политической монополии с помощью новых технологий. Главной методикой для любого правителя была старая максима «разделяй и властвуй». Так действовали древнегреческие тираны, европейские королевские дома. Но их искусство правления вплоть до Макиавелли неизменно воплощало частную перспективу отдельной фракции политической элиты. Либеральное правительство добивается предельной способности генерализации.

Только внутри концепта *государственного интереса* открылись две новые возможности правительственного контроля политического поля. Первая — назовем ее технологией *фрагментирования* — связана с появлением глобальной перспективы, позволяющей взглянуть на политическое искусство как на расчет сил, т. е. с точки зрения проблем динамики конфликтующих политических субъектов. Вторая — обозначим ее как технологию *деполитизации* — связана с пониманием бесконечных возможностей политической экономии, которая позволяет придавать острым политическим конфликтам характер технологических проблем и решать их не в изнурительной, изматывающей и рискованной политической борьбе, а с помощью рыночных институциональных решений.

*Фрагментация конфликтов*

Успех контроля политического поля определялся способностью правительства дробить коллективные интересы на серии частных, а их, в свою очередь, на индивидуальные, расстраивать крупные альянсы, стирать идентичность большинства. Более или менее отчетливо такая стратегия была сформулирована еще во времена Великой французской революции. Алексис де Токвиль цитирует примечательное письмо Мирабо, адресованное Людовику XVI, в котором он с симпатией отзывался о некоторых результатах деятельности Национального собрания. Революционерам, пишет он, удалось подорвать влияние сословных представительств, привилегированных классов, дворянства, духовенства: «Идея сформировать один-единственный класс граждан понравилась бы Ришелье: эта ровная поверхность облегчает осуществление власти»<sup>32</sup>.

В политической вселенной, где господствующей формой правления было национальное государство, монополия удерживалась благодаря установлению четких и ясных внутренних границ — региональных, этнических, сословных и социальных. Сегодня это правило формулируется как вполне легитимная стратегия либерального правления: «От других форм правления демократию отличает особый акцент на фрагментации любого осуще-

<sup>32</sup> Токвиль А. де. *Старый порядок и революция*. — СПб., 2008. — С. 20.

ствления власти, чтобы предотвратить установление авторитета со стороны одного индивидуума или группы, авторитета, который лишает их свободы. В отличие от монархического правления, основанного на единстве социального тела, от олигархического, основанного на проведении водораздела между классами, демократия является техникой правления, которая основывает контроль на расщеплении общества, черпающего силу и связность из социальной фрагментации... Именно так устанавливается согласованность политической системы»<sup>33</sup>.

Во второй половине XX века урбанизация и миграция эти границы непрерывно размывали, что воспринималось как эрозия и кризис национальной государственности. Классовое и национальное самосознание из наличной данности превратилось в проблему. Адаптация либерального правительства к новой реальности проявилась в поддержке, в идеологическом обеспечении процесса фрагментации социальной среды. Интересам усиления социально-политического контроля отвечал процесс постепенного разложения сознания мажоритарных субъектов — этнических или классовых. Традиционные для суверенных национальных государств «большинства» все больше дробились на меньшинства. Крупные классовые и национальные общности разлагались на эфемерные социальные серии — этнические, профессиональные, культурные, гендерные, квазирегиональные идентичности.

Эта эволюция выразилась в изменении формата политического поля. Во второй половине XX века идет процесс исчезновения со сцены крупных партийных организаций, интегрирующих в свои структуры представителей «большинства»: таких мажоритарных субъектов, как рабочий класс или буржуазия, значимые религиозные и этнические группы. Поскольку партии начинают оперировать «меньшинствами», постольку ослабляется потребность в четкой определенности идеологической идентичности. Идеологические платформы в партийных программах размываются и теряют определенность. Саския Сассен, считает, что первые ростки кризиса партийных систем в США пробились в начале 80-х годов прошлого века. По ее мнению, главным его проявлением является чрезмерное усиление исполнительной власти, которая уже не контролируется партийными структурами, партийной политикой и, соответственно, законодательной ветвью власти<sup>34</sup>.

33 Pierre-Yves Gomez, Harry Korine. *Entrepreneurs and Democracy: A Political Theory of Corporate Governance*. — Cambridge University Press, 2008. — P. 48. Примечательно, что в цитируемой работе, посвященной функционированию либерально-демократической системы, не проявлено никакого интереса к партийным системам и партиям. Слово «партия» встречается лишь один раз, да и то лишь в метафорическом смысле — как «третья пария». Столь же интересно и откровенно интерпретируют авторы термин «демократия». По их мнению, сегодня понятие «демократия» перегружено разнообразными ценностными суждениями — эмоциональными, политическими, экономическими. Но если демократию «очистить» от «ценностей, с которыми она ассоциируется у людей, то она предстанет не больше чем техникой правления — одна в ряду других — как способ легитимации правящей власти».

34 См. Sassen Saskia. *Beyond Party Politics: The New President and the Growth of Executive Power* // *Dissent* — Winter, 2009. Правда, Сассен видит причину трансформации либе-

Политическое поле населяется неисчислимым множеством «репрессированных» микросообществ и групп интересов. Соответственно, небывалое влияние приобретают лоббистские и экспертные структуры (пиар-агентства, исследовательские центры), а престиж партийной бюрократии значительно понижается. Это позволило либеральному правительству без особого риска страха поощрять как появление большого количества дискуссионных площадок, так и правозащитную активность шумных меньшинств. Оказалось, что появление новых миноритарных голосов только усиливает центростремительный импульс. Чем сильнее у полемизирующих сторон идентичность меньшинства, тем интенсивнее их риторические фигуры речи работают на фикцию «всеобщего интереса» и тем проще создавать фикцию демократического процесса.

Как левые, так и правые консерваторы видят в новой политической реальности кризис системы политического представительства. Одни утверждают, что игнорируются интересы социального большинства, другие — культурно-национального. Но ни те ни другие не желают признавать процесс размывания идентичностей традиционных политических «большинства».

Базисный социальный процесс фрагментации в большой мере связан со спонтанностью самих масс — урбанизацией, миграцией, демографическим ростом, усилением профессионализации и специализации, т. е. процессами, которые либеральные демократии не способны были контролировать с помощью организации пространств оседлости. Власть была вынуждена приспособлять к новой реальности свою политическую оптику, оперируя группами меньшинств, а не мажоритарными социальными субъектами. Это позволило значительно повысить уровень политической координации и контроля в обществе с высокой степенью социальной мобильности.

### *Деполитизация*

Развитие политико-экономических технологий приводит к тому, что на смену договорным правовым формам политического компромисса приходит достойная и зачастую более эффективная альтернатива. Непрерывные конфликты вокруг налоговой политики, в которые были вовлечены разные группы интересов бизнеса и правительства, стимулировали появление интересного институционального решения. В Британии на рубеже XIX–XX веков решили, что правительство способно осуществлять свою налоговую политику иными средствами — монетарными. И делалось это просто — с помощью изменения Банком Англии обменного курса национальной валюты. Такая монетарная политика помогла вынести за скобки политических дебатов в парламенте и прессе меры по контролю за доходами<sup>35</sup>.

рального государства не в глубинной социальной эволюции и смене либеральных технологий правительства, а в неконтролируемом росте влияния «глобальной корпоративной экономики».

35 См. Flinders Matthew. *Delegated governance and the British State*. — Oxford University Press, 2008. — P. 253.

К таким же последствиям привела серия классовых конфликтов в ФРГ. В послевоенной Германии сложился политический институт, улаживающий конфликты между работодателями и профсоюзами в переговорном процессе при посредничестве правительства, — так называемая *Konzertierte Aktion* (*акция согласованных действий*). Профсоюзы обычно не настаивали на чрезмерном повышении зарплаты, поскольку доверяли действиям правительства, рассчитывая на результаты его макроэкономической политики. Классовое сотрудничество и гармония продолжались до 1969 года, когда руководство *IG Metal* выступило с обвинением правительства в сговоре с профсоюзами, организовавшими неофициальные забастовки. После этого первого конфликта профсоюзы с большей настойчивостью требовали повышения зарплаты. В 1974 году накануне первого нефтяного шока правительство Брандта было вынуждено увеличить зарплату в публичном секторе на 10%. В деловом сообществе этот шаг был воспринят как проявление слабости правительства. Острота политического противостояния привела несколько месяцев спустя к отставке кабинета. Утратив надежду, что правительство когда-нибудь будет способно эффективно руководить профсоюзами, Бундесбанк, который в рамках дизайна правительственных институтов ордолибералов получил автономию от избираемого федерального правительства, в одностороннем порядке переключился на монетаристскую политику. С помощью монетарных инструментов он стал определять политику занятости. Формально монетаристская политика не могла быть предметом переговоров ни для правительства, ни для профсоюзов. Сразу после этого массовая безработица стала критической проблемой вплоть до сегодняшнего дня. Хотя правительство Гельмута Шмидта оставалось приверженцем трехсторонних переговоров<sup>36</sup>, оно было не в силах отрегулировать денежные потоки таким образом, чтобы обеспечить полную занятость. Перед лицом неумолимости монетаристской политики Бундесбанка профсоюзы в конечном итоге вышли из *Konzertierte Aktion* в 1978 году<sup>37</sup>.

Деполитизация, как перевод социального противоречия на уровень монетарного регулирования, становится обычной практикой. В ней находят свое отражение два категорических мнения ордолибералов. Во-первых, процесс формирования зарплат вообще не может быть темой переговоров и договоров — это сугубо рыночный процесс. Во-вторых, социальная политика как перераспределение доходов — абсолютный нонсенс. Социальная политика должна быть двоякой: *генерализованной* — управление социальной

36 Гельмут Шмидт в *New York Times* в мае 1976 г. писал: «Весь процесс установления уровня зарплат и вознаграждений является исключительной ответственностью коллективных переговоров. Правительство и парламент даже не мечтают изменить этого. Как свидетельствует наш опыт, лучшего решения не существует» (quoted in Katzenstein, 1987. — P. 156).

37 Подробное описание конфликта см. в: Streeck Wolfgang. *Industrial Relations: From State Weakness as Strength to State Weakness as Weakness. Welfare Corporatism and the Private Use of the Public Interest* // Governance in Contemporary Germany: The Semisovereign State Revisited / Ed. by Simon Green and William E. Paterson. — Cambridge University Press, 2005. — P. 141–142.

средой как целым с помощью монетарных механизмов, и *индивидуализированной* — с помощью механизмов индивидуального страхования от рисков безработицы.

При таком институциональном подходе собственно политический процесс, согласование интересов через переговоры, дозволенные формы социального противостояния (забастовки и др.) оказываются бессмысленными. Случайные результаты политических столкновений и дискуссий изгоняются, а вместе с этим происходит сужение области политики. «Политическая анархия неизбежно ведет к хаосу. Но анархия в экономике, спонтанным образом, имеет противоположный результат: упорядоченный космос»<sup>38</sup>, — писал один из лидеров ордолиберализма Вольфганг Рёпке.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный эскиз либеральных правительственных практик ставит нас перед лицом некоего парадокса. С одной стороны, правительственная рациональность представляет собой процесс самоограничения, наделяющий автономией субъектов гражданского общества, рынка и политики, признанием свободы и инициативы за индивидуумом. Кроме того, сопутствующая децентрализация власти (через ее перераспределение внутри правительственного аппарата) размывает фигуру суверена. С другой стороны, утверждается, что контроль либерального правительства над обществом становится все более проникающим и изощренным. Король обезглавлен, но «как это возможно, чтобы такое тело без головы вело себя зачастую как единое?»<sup>39</sup> — формулирует парадокс Митчелл Дин. Каким образом множественные и рассеянные отношения власти обретают «когерентную» и «унифицированную» форму, каким образом они переводятся в глобальные стратегии и социальную гегемонию? Может ли вообще дисперсная правительственная власть воздействовать на автономные структуры гражданского общества или самостоятельные предприятия?

Отчасти этот парадокс возникает как обман перспективы. И мы его не разрешим до тех пор, пока будем придерживаться концепции власти, которая строится на трех ложных допущениях. Заблуждение первое: власть — это нечто, чем может владеть какой-то субъект: класс, например, государство, элита или народ. Однако, возражает Фуко, властью обладать нельзя, как обладают вещью или товаром, — это отношение или даже аспект отношений между людьми. Аналитически мы можем выделить власть из отношений родителей и детей, врачей и пациентов, властителей и подвластных, но все эти отношения гораздо богаче, чем абстрагированная нами власть, — кроме власти они могут содержать также аффективную при-

38 Röpke Wilhelm. *Economics of the Free Society*. — Chicago: Henry Regnery Company, 1963. — P. 4.

39 Mitchell D. *Critical and Effective Histories. Foucault's Methods and Historical Sociology*. — London / New York: Routledge, 1994. — P. 156.



вязанность, любовь, экономический обмен или эстетическое восхищение. Вторая ложь заключается в том, что власть по природе репрессивна. Фуко настаивает на том, что власть вообще и его правительственная разновидность в частности имеют важную производящую функцию. Она не только ограничивает, разделяет, изолирует; напротив, даже появление свободных субъектов является проявлением производящих возможностей власти. Третье ложное допущение состоит в том, что власть исходит из уникального и централизованного источника вроде государства или экономики. Однако и государство, и экономика являются не суверенными и абсолютными субъектами, но инструментами правительственных практик<sup>40</sup>.

Мы сегодня наблюдаем не ослабление суверенитета государства и его управленческих возможностей, но перемещение техник контроля правительства от официального к неофициальному и появление новых акторов в сфере правительства (предприятия, НКО). Это перемещение открывает фундаментальные преобразования в самой природе государства и новые отношения между акторами государства и гражданского общества.

40 Фуко М. *Нужно защищать общество*: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975/76 учебном году. — М., 2005. — С. 41–61.